ГЛАВА 2

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ, КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Постановка проблемы

В контексте глобализации и усиливающейся территориальной мобильности населения можно усомниться в целесообразности поиска связи между территорией и идентичностью. Однако более трети опрошенных в ходе репрезентативного выборочного исследования «История жизни»¹ заявили о том, что связь с определенной территорией существенна для их личностного самоопределения. Характерно, впрочем, что доля тех, для кого такой территорией является место рождения (9%) в три раза меньше доли тех, кто определил ее как место, к которому он эмоционально привязан (28%). Это подтверждает общую закономерность: для самоопределения современного француза более существенна персональная жизненная траектория, нежели предопределенность обстоятельствами. Место рождения, как и свои «корни», человек не выбирает: он принимает их как данность. Между тем, аффективная связь предполагает свободный выбор.

И все-таки правомерно задуматься о том, в какой мере ответ на вопросы «кто мы» и «куда мы идем» все еще зависит от ответа на вопрос «откуда мы»? Как и почему люди отвечают на этот последний вопрос? Почему человек может испытывать особое чувство привязанности к определенному месту на земле? Как форми-

¹ Анкетный опрос 8403 человек по репрезентативной выборке в 13 тыс. 500 человек (в возрасте 18 лет и старше, проживающих в метрополии, в обычных домохозяйствах) был реализован в 2003 г. совместными силами Национального статистического (INSEE) и Национального демографического (INED) институтов. Результаты опроса в виде таблиц простых и парных распределений опубликованы в электронном виде в качестве приложения к первой книге аналитических материалов «En quête d'appartenances» (Guérin-Pace et al., 2009). Все количественные показатели, приводимые в книге (если не указан иной источник), взяты из материалов данного исследования.

руется эта привязанность? В чем она проявляется? Сопровождается ли она непременно чувством общности с людьми, населяющими ту же территорию?

На коллективном уровне возникает понятие «*территориальность*», определяемое как система отношений, которые выстраивает социум с территорией: сложное переплетение индивидуальных жизненных пространств, территорий жизнедеятельности – и политико-административных территорий, границы которых всегда условны и часто изменчивы. В чем причина того, что некоторые территории обладают более мощной силой притяжения по сравнению с другими? С чем конкретно идентифицируют себя люди? С современными административно-территориальными или политико-территориальными единицами, с историческими территориальными образованиями или с природными ландшафтами?

Человеческую жизнь можно представить себе как путь, движение сквозь пространство и время, маршрут, заключенный между рождением и смертью. Путь этот, в зависимости от обстоятельств, может быть более или менее протяженным, более или менее прямым или извилистым. Жизненный путь каждого человека является частью истории его семьи, рода, страны, в конечном счете – всемирной истории. Личный опыт и индивидуальная память переплетаются на этом пути с коллективными, становясь частью общего многоголосого повествования.

Мы приходим в мир, уже определенным образом структурированный, упорядоченный предшествовавшими нам поколениями, в мир, состоящий из множества изолированных, наслаивающихся, переплетающихся, примыкающих друг к другу *пространств*. Эти пространства в разных направлениях пересекаются более или менее проницаемыми, различными по своей природе границами: географическими, политическими, социальными, культурными, языковыми, символическими. Границы образуются в результате человеческих действий, борьбы и противостояний, иногда – войн и почти всегда – договоренностей и компромиссов. Процесс социализации состоит, в том числе, в знакомстве с этими границами, которое облегчает ориентацию и перемещения в пространстве.

Пространства, таким образом освоенные и присвоенные индивидами или группами, превращаются в *территории*. Это присвоение никогда не является окончательным, хозяева сменяют друг друга, оставляя следы своего пребывания: архитектурные и инженерные сооружения, памятники, объекты религиозного культа, могилы и

кладбища, топонимы и т.п.. Очень часто топонимы сохраняются и тогда, когда никому из живущих в данной местности их смысл уже неведом. Меняются не только обитатели, но и контуры, очертания самих территорий. Они могут расширяться в результате экспансии, сжиматься, как шагреновая кожа, поглощать друг друга, сливаться или разделяться на части. У каждого из них есть своя история, своя идентичность. Однако правомерно ли говорить об идентичности *территорий*, само существование которых обусловлено человеческим присутствием? Не является ли ничья земля, «*no man's land*», территорией без идентичности? Может быть, правильнее было бы видеть в территории один из факторов идентичности обитающего на ней населения?

Изучать природу и характер связи между человеком и частицей пространства, территорией, можно с двух позиций. Первый подход – назовем его географическим – заключается в том, чтобы понять, почему те или иные *местности*, обитаемые пространства, обладают мощным идентификационным потенциалом. В чем тут дело: в их природных особенностях – климате, ландшафте – или в тех смыслах и представлениях, которыми их наделили история и традиция, общая для всех обитателей коллективная память (*Ciarcia, 2002:4*)? Впрочем, точнее говорить не о коллективной памяти, которая есть не более чем метафора, а о коллективном воображаемом, связанным с данной территорией. «Общеразделяемое прошлое – это абстракция, или, в лучшем случае, – конструкция... Это история, о которой не у каждого ее пережившего есть осознанное представление, и даже у тех, кто осознает, что пережил ее, сохранились о ней разные воспоминания» (*Augé, 1986:30-31*).

Другой подход, антропологический, нацелен на понимание природы *связи* человека с различными местностями и территориями – теми, что составляют часть реальной жизни, или конкретных планов, или существуют лишь в мечтах. Некоторые из этих местностей принадлежат прошлому. Иногда с ними связаны определенные этапы жизни, и по завершении этих этапов они становятся воспоминаниями: в этих местах мы жили или регулярно бывали, но в какой-то момент покинули их навсегда. «Эти места в нашей памяти неразрывно связаны с той жизнью, которая в них прошла, с тем, что там было сделано или сказано» (*Muxel, 2002*), с теми людьми, которые жили или бывали там вместе с нами. Воспоминания о них могут вызывать удовольствие, радость или ностальгию, а могут – печаль или страдания, даже страхи. Поэтому, осознанно или нет, человек придает осо-

бую ценность одним из таких покинутых мест и старается не вспоминать о других, хотя они могут в любой момент напомнить о себе.

Местности и территории, которые человек посещает регулярно, с определенной частотой, проводя в них более или менее длительное время, обычные маршруты перемещения между ними составляют его жизненное пространство в настоящем, даже если они не являются его постоянным местом жительства. Наконец, есть места, зарезервированные на будущее: места, куда человек планирует или мечтает переехать (даже если этим намерениям не суждено осуществиться), или место, заранее выбранное для последнего приюта. Совокупность этих местностей, принадлежащих прошлому, настоящему или будущему, мест, где человек жил, живет или собирается жить, с которыми связывает планы и намерения, о которых он мечтает – составляет постоянно обновляющийся арсенал, который может быть мобилизован для конструирования идентичности (*Guérin-Pace, 2006*).

Некоторые из этих местностей вызывают аффективное чувство принадлежности к ним, которое может иметь разную природу: привязанность к своим воспоминаниям, к близким людям, к своим мечтам. Можно ли в таких случаях говорить о принадлежности к территории?

Другой комплекс вопросов возникает в связи с таксономическим уровнем территорий, с которыми индивид ассоциирует себя, принадлежность к которым ощущает. О чем свидетельствует преимущественная самоидентификация со своей деревней, городским кварталом или пригородом: об успешной социальной интеграции или о замкнутости, ограниченности, а то и о страхе перед «внешним» миром? Напротив, чувствовать себя в первую очередь европейцем или гражданином мира – это признак открытости, автономности и широты кругозора или же безразличия к ближайшему окружению, эгоцентризма, отсутствия корней? Называть себя «человеком ниоткуда» или «отовсюду» – означает быть одиноким и потерянными или независимым и свободным?

Наконец, пожалуй, самый сложный вопрос: какова связь между идентификацией с территорией и коллективной идентичностью? Является ли принадлежность к территории коллективным чувством, или оно у каждого сугубо индивидуально? Иначе говоря, можно ли утверждать, что чувству принадлежности к определенной территории непременно сопутствует ощущение принадлежности к сообществу, с которым эта территория разделяется? Предполагает ли оно коллективные практики в масштабах этой территории?

Связь индивида с территорией носит двойственный характер: с одной стороны, она проявляется в форме присвоения (это мой дом, моя страна, моя земля), с другой – в форме идентификации (я – отсюда) (*Sencébé, 2001:83*). Именно в этой двойкой перспективе мы рассмотрим механизм формирования связи между человеком и территорией, а также постараемся ответить на вопрос о том, «какова роль места в образовании социальных связей» (*Ramos, 2006:26*).

*Территории, которые нам принадлежат:
«мой дом, моя земля, моя страна»*

Разнообразие индивидуальных судеб и жизненных обстоятельств позволяет предположить, что и способы конструирования «своих» территорий бесконечно варьируют. Действительно, можно ожидать, что связь с территорией у «домоседов», всю жизнь проживших на одном месте, в одной деревне или одной коммуне (согласно данным обследования, такие люди составляют в населении сегодняшней Франции около 10%), и у «кочевников», поменявших не одно место жительства, переезжавших из одного региона страны в другой, и тем более имеющих опыт жизни за границей, будет разной. Другие факторы, помимо территориальной мобильности, – возраст, уровень образования, профессия и т. п. – также могут оказывать определенное влияние. Однако анализ собранных интервью позволяет выявить немногочисленные модели «присвоения» территории, вне зависимости от их таксономического уровня.

В самом общем виде можно выделить два противоположных типа позиционирования индивида в пространстве и во времени. Первый можно сформулировать как существование «здесь и сейчас». Э. Рамос называет такую позицию «идентификационным синхронизмом» (*Ramos, 2006:100*). Второй, получивший название «идентификационного анахронизма» (*ibid.:82*), проявляется в том, что человек идентифицирует себя не с нынешним местом жительства, а с какой-то иной территорией, принадлежащей его прошлому, или даже истории его семьи, в отношении которых он может испытывать ностальгические чувства, или воспринимать их в качестве идентификационного ориентира. Рассмотрим эти две модели подробнее.

«Синхронисты»

«Как бы мне хотелось, чтобы существовали местности постоянные, неподвижные, незыблемые, неприкосновенные и даже почти неприкасаемые, глубоко укорененные; местности, которые могли бы служить ориентирами, истоками, отправными пунктами»², – писал Ж. Перек, для которого это желание так и осталось навеки несбыточной мечтой. Чудом уцелевший ребенком в годы Второй мировой войны, спасенный от уничтожения в нацистских лагерях смерти, он заплатил за это спасение полным отсутствием семейной истории и воспоминаний детства. Все его творчество было страстным желанием вернуться к утраченным истокам, восстановить разорванную нить семейной саги, вписать в нее свою жизнь, обрести тем самым покой и уверенность, то самое ощущение преемственности и стабильности, которое, как мы помним, тесно связано с понятием идентичности.

Это ощущение естественным образом присутствует у живущих на одном и том же месте с рождения, а тем более – из поколения в поколение. Вот как описывает его Анна-Мария³, владелица небольшого магазинчика из департамента Лот:

«Да, я родилась здесь, и мои родители родились здесь, и родители моих родителей тоже родились здесь. Вы знаете, что я Вам скажу? Это очень хорошо для самооощущения – знать, где тебя в конечном итоге похоронят. Это дает такую спокойную уверенность. Так мы действительно ощущаем свои корни, и эти корни уходят глубоко в нашу землю. Я рано стала задумываться об этих вопросах, потому что потеряла отца, когда мне было 19 лет (он погиб при трагических обстоятельствах), и я была единственная дочь. Так вот, когда многие поколения твоих близких находят последний приют в одной и той же земле, это примиряет с мыслью о смерти. В действительности, вся наша жизнь – это лишь более или менее продолжительный промежуток между рождением и смертью. Сейчас, к сожалению, Франция теряет это качество. Люди все меньше и меньше думают о своих корнях. Многие вынуждены уезжать, чтобы найти работу, например».

² PEREC, G. *Espèces d'espaces*. Paris: *Galilée*, 1974/2000. p. 139. Далее по тексту постраничные сноски отсылают к списку Источников в Приложении.

³ См. список информаторов в Приложении

Обратим внимание на этот образ глубоко уходящих в землю корней: именно так формируется ощущение телесной, физической связи с местностью, почва которой перемешана с прахом многих поколений твоих предков. Ж. Де Пюимеж развивает его в пространную метафору: «Из останков французов, превратившихся в перегной, вырастает пшеница, и французы, большие любители хлеба, могут таким образом ежедневно вкушать светское и национальное причастие. (...) На поте и крови трудолюбивой и самоотверженной Франции замешан, можно сказать, хлеб Нации» (Пюимеж, 1999:386-387).

Паскаль, 35-летний бухгалтер, живущий в маленьком приграничном эльзасском городке, тоже ощущает свой синхронизм с местностью, хотя рассуждает об этом более буднично:

«У меня здесь корни, семья, родственники... во всяком случае, я дорожу этим. Ведь как бы то ни было, я вырос здесь, мне здесь хорошо, все здесь привычно»

В то же время, наше исследование показало, что люди, всю жизнь живущие в одной и той же местности, реже испытывают к ней аффективную привязанность: привычка ведет к тому, что «обычное, повседневное окружение просто перестают замечать, поскольку оно все время перед глазами» (*de la Soudière, 2007*). Однако зачастую стоит лишь ненадолго покинуть привычные места, чтобы очень остро ощутить почти физическую привязанность к ним. Карина питает такое глубокое чувство к родной деревне, затерянной высоко в корсиканских горах:

«Это что-то такое, что не имеет названия. Меня не раз спрашивали, почему я решила остаться в деревне. Но я не могу представить себе, чтобы я могла жить в другом месте, хотя бы даже на равнине. Даже в Бастии (административный центр департамента Верхняя Корсика – Е.Ф.). Когда я училась в университете, в Корте, я там снимала квартиру, но каждую пятницу уже к полудню сумка была собрана, она лежала в машине, и как только заканчивались занятия, в ту же минуту я была на пути домой. Здесь я чувствую себя хорошо, в безопасности. Я по-настоящему ощущаю гармонию существования. Мне просто необходимо каждый день видеть эту природу, это почти как наркотик. Я могу целые дни проводить на этой веранде, мне никогда не надоест любоваться пейзажем, в любое время года это – истинное удовольствие. Сейчас, на-

пример, вы чувствуете сильный аромат цветущих каштанов. Зимой пахнет дымом от камина, пахнет сыростью, опавшей листвой. Я люблю, когда холодно, когда идет снег, или когда ложится туман – тут у нас часто бывают туманы, но меня они не пугают. Чего я по-настоящему боюсь, это чтобы не пришлось когда-нибудь уехать из деревни. Думаю, для меня это было бы катастрофой».

Но связь с территорией может основываться не только на привязанности к почве: не менее, если не более важны человеческие отношения – родственные, дружеские, соседские. Для Карины, в частности, привязанность к родной деревне во многом объясняется именно ее отношениями с людьми:

«Я принимаю их с их достоинствами и недостатками, будь то члены семьи или просто соседи. В этом нет никакого расчета, я даже не задумываюсь об этом. Они действительно мне необходимы, я испытываю потребность в том, чтобы видеться с ними, я дорожу этими отношениями».

Мари-Клод, сейчас ей 61 год, родилась и выросла в Тулоне, на юге Франции, но с 1970-х годов живет в Бретани. Она имеет возможность сравнить два региона:

«По-настоящему я привязана к этой местности, потому что здесь все мои друзья, знакомые, все окружение. То немногое, что осталось на юге... Правда, в последнее время я возобновила контакты с бывшими одноклассниками, но я нахожу эти контакты... более поверхностными, что ли... им недостает теплоты. Мы общаемся, но все же между нами нет настоящих дружеских отношений. Здесь, если у вас что-то случилось, всегда можно рассчитывать на чью-то помощь. Вокруг нас есть такое ядро, благодаря которому я чувствую себя здесь очень хорошо».

Таким образом, локальность – «это скорее микрокосмос, особый мир, чем четко очерченная территория (...) наше отношение к той или иной местности включает в себя характер взаимоотношений между людьми, культурное наследие, являющееся результатом истории и повседневной жизни» (Chevallier et Morel, 1985). Лоран, 37-летний инженер из Ренна, уроженец Анже, говорит об особом «бретонском мире»:

«... вот уже пять лет, как я живу здесь, и за это время я лучше узнал Бретань. Из повседневных контактов рождается особая близость с так называемыми «бретонцами», в кавычках, одним словом, с людьми, которые живут на этой земле. Эта бретонская специфика, на самом деле, ты ее чувствуешь, замечаешь. Архитектура, как будто специально приспособленная к этому климату с его постоянными дождями, чайки на крышах, рынок, на котором можно увидеть все богатства Бретани, потом эти кельтские мотивы – скрипки, волынки... Не знаю, может быть, это от близости к морю, люди здесь кажутся более непринужденными, простыми, скромными, более симпатичными».

Менее очевидной стратегией выглядят попытки конструирования идентификационного синхронизма у людей, часто меняющих место жительства. Однако некоторые из них становятся мобильными поневоле, в силу обстоятельств, а не свободного выбора (Bourdin, 1996). В таких случаях человек стремится закрепиться на новом месте, даже если он не связан с ним ни происхождением, ни «корнями». Так поступает, например, Брижит, дочь военного, родившаяся в Дакаре. Сегодня ей 50 лет, и она живет в новом коттеджном поселке в департаменте Морбиан в Бретани:

«Мы поселились здесь в 1983 году, я была тогда беременна четвертой дочерью. И я «пустила корни». Я так страдала всю жизнь от этих бесконечных переездов вслед за отцом! Так что когда вдруг представилась возможность устроиться где-то на постоянном месте, я тут просто расцвела. Люди здесь очень добрые, жизнь спокойная. Я в какой-то мере привязана и к Ла-Рошели, потому что... это город моего детства. Но моя повседневная жизнь проходит здесь, и мне здесь очень, очень хорошо. Люди часто не понимают, как это важно, чувствовать себя хорошо в своем доме, в кругу семьи. Я не хочу сказать, что я не создана для путешествий, путешествия – это замечательно, но нужно иметь где-то корни, нужно ценить то место, где ты родился, нужно способствовать его процветанию, вместо того чтобы разбрасываться туда-сюда».

Чувство благополучия, удовлетворенности часто выступает аргументом при объяснении возникшего на определенном этапе жизненного пути желания бросить якорь в данной местности. Для некоторых это просто-напросто рациональная констатация удачного выбора. Так, Мартина в ответ на вопрос «Откуда вы?» называет деревню в Провансе, где они с мужем поселились 15 лет назад, *«потому что нашли уютное местечко, доступный по цене дом, к тому же в деревне, где нам нравится покой и качество жизни»*. И она уже знает, что рано или поздно ее похоронят на местном кладбище, хотя мысль об этом вызывает у нее смешанные чувства: *«я иногда думаю о том, что никто не будет навещать мою могилу... это немного грустно»*.

У других это чувство удовлетворенности может выражаться более интенсивно и эмоционально, как, например, у Жан-Марка, военного инженера-программиста 45 лет, живущего в департаменте Морбиан в Бретани:

«Я ответил бы, что я отсюда. Потому что вот уже несколько лет как мы поселились здесь, и нам здесь хорошо. Я немало путешествовал в жизни, побывал на Антильских островах, в Джибути, в Испании, Италии, на Таити. Есть очень красивые места, хотя я и не уверен, что жить там было бы легко. Но я, скажем так, привязан к этому региону, поскольку уже немало лет... да, уже 38 лет... конечно, можно сказать, что я отсюда ... Мы тут уже вполне укоренились. Теперь, когда дети выросли и разъехались, мы обсуждали вопрос, не подумать ли о переезде куда-то, я мог бы попросить перевода по службе, но нам здесь хорошо. Мы привязались к этой почве, выходит... Ну, это так говорится – к этой почве... скорее, к этим камням».

Идентификационный синхронизм, как видно из приведенных фрагментов, во многом основывается на ощущении благополучия. Многие мои собеседники выражали его одинаково: *«Нам здесь так хорошо, чего еще искать на стороне!»* Тот факт, что 59% опрошенных в ходе исследования «История жизни» – «синхронисты», свидетельствует о высокой степени удовлетворенности условиями и качеством жизни. В то же время, существует и обратная связь: сознательно культивируемый синхронизм может служить опорой в стремлении к обретению душевного равновесия, даже если нынешнее место жительства не вызывает эмоциональной привязанности, а также

обеспечивать ощущение постоянства, необходимое для позитивной идентичности. Анник, отвечая на вопрос о том, нравится ли ей жить в Лориане (небольшой городок в департаменте Морбиан в Бретани) сформулировала свой взгляд на вещи просто и ясно: «Нужно, чтобы мне здесь нравилось, у меня просто нет другого выхода».

Этот же подход прослеживается и в других интервью. Так, Катрин признается, что лучшие ее воспоминания связаны с Пикардией, родным регионом ее отца, который она считает «очень красивым», и Испанией, где живет родня по материнской линии. В детстве она часто проводила лето в этих местах, и сейчас при первой же возможности старается побывать там, особенно часто – в Испании, но никогда даже не помышляла о том, чтобы переехать жить в одно из этих мест, потому что, объясняет она,

«...теперь я крепко привязана к Страсбургу: здесь мой дом, моя работа, здесь я познакомилась с мужем, здесь родились мои дети, хотя вся эта эльзасская специфика, язык, культура, менталитет мне чужды, люди здесь кажутся мне холодными, по сравнению с югом».

Уже знакомая нам Брижит, все детство и отрочество проведшая в странствиях вместе с родителями, пыталась укорениться на каждом новом месте. Она вспоминает, что любила Марокко, считая его «своей страной»; потом ей «казалось, что она прирожденная жительница Тулона»; сегодня она «пытается быть бретонкой». Этот вид стратегии привязки к месту прекрасно описан Ж. Переком:

«...укорениться; разыскать или сформировать свои корни, отвоевать у пространства место, которое станет вашим; застраивать, засаживать, осваивать его миллиметр за миллиметром: целиком и полностью слиться со своей деревней, осознать себя местным в Севеннах, сделаться своим в Пуату...»⁴.

Такое укоренение помогает, в частности, пережить «переезды и расставания, связанные с различными периодами биографии» (Ramos, 2006:51).

Очертания и протяженность «своей территории» не только варьируют у разных людей, но и меняются на протяжении жизни в зависимости от обстоятельств. Сама идея «своей территории» (фр. «chez-soi») имеет форму существительного, ближайшим значением которо-

⁴ PEREC, G. *Espèces d'espaces*. p. 140.

го в русском языке является выражение («у себя дома») тесно связана с потребностью в безопасности. Именно дома мы чувствуем себя защищенными, укрытыми от внешних угроз и нескромных взглядов. Здесь нас без труда понимают, и мы понимаем других. Здесь мы можем свободно перемещаться в пространстве, не опасаясь заблудиться или быть остановленными Другим, который сочтет, что вы больше не «у себя», а «у него». Есть множество способов обозначения границ «своей территории»: двери комнат, квартир и домов; решетки дворов и изгороди земельных участков; административные и политические границы. Точно также есть разные способы преодоления этих границ и расширения «своего пространства». Среди наиболее эффективных способов – знания, талант, деньги. *«Богатые легко интегрируются везде»*, – замечает Брижит. Действительно, для того чтобы *«не иметь ничего, кроме необходимой одежды, ничего не хранить, жить в гостиницах, часто их меняя, менять также города и страны, говорить и читать с одинаковой легкостью на четырех или пяти языках»*⁵, нужно обладать мощным культурным, социальным и финансовым капиталом. Поэтому по-прежнему мало сегодня тех, кто может не только считать себя «гражданином мира», но и вести себя соответственно.

Для большинства простых смертных «своя территория» более или менее ограничена. Мари-Клод, например, утверждает, что повсюду во Франции чувствует себя «как дома»:

«Я считаю, что нам очень повезло. Потому что нас действительно никто не ограничивает, мы можем делать, что хотим, носить, что хотим... Боже правый, как это приятно! Кроме того, нас не подавляет религия, соблюдать ли религиозные предписания – каждый волен решать. Я думаю, что свобода – это самое главное, для меня, в частности, и для всех нас».

У Поля-Феликса, 50-летнего преподавателя лицея в Кортэ, все по-другому: *«Как только я попадаю на континент (материковая часть Франции – Е.Ф.), сразу же начинаю думать о возвращении. ... Там я не чувствую себя дома. Я там чужой. Мое место – здесь, это мой дом, мой сад, моя деревня. На Корсике, пожалуй, я могу сказать, что я дома. На всем острове».*

⁵ PEREC, G. *Espèces d'espaces*. p. 140

Паола тоже считает, что на Корсике она повсюду «у себя», внутри острова для нее нет границ. Но едва ступив на борт корабля, чтобы плыть на «континент», она сразу чувствует, что ей «не хватает кислорода»:

«Уехать иногда хорошо, но когда я возвращаюсь, я вздыхаю с облегчением. Я дышу этим воздухом и не могу насытиться. Это насущная потребность для меня. Хотя иной раз так все достанет, говоришь себе: все, хватит, уеду отсюда, может быть, в другом месте я смогу жить по-другому, как-то изменить свою жизнь... Но я знаю, что все равно вернусь на Корсику. И умереть мне суждено именно здесь».

Ивонна чувствует себя хорошо и уверенно только в центральной части Корсики:

«Я люблю, просыпаясь, видеть перед собой горы. Окна моего дома выходят на Ротонду, это вселяет в меня уверенность. Я так это ощущаю. Я охотнее езжу в Бастию, чем в Аяччо (административный центр Южной Корсики, расположенный на средиземноморском побережье – Е. Ф.), хотя в Аяччо я прожила несколько лет. Но там я никогда не чувствовала себя хорошо».

В словах Ивонны угадывается влияние на восприятие ею пространства традиционного для на Корсики противопоставления горной и равнинной частей острова. Горная часть на протяжении столетий считалась более безопасной и пригодной для жизни по сравнению с приморской равниной. Последнюю начали по-настоящему осваивать сравнительно недавно – после Второй мировой войны, когда с помощью американцев удалось победить малярию, прежде делавшую эту местность нездоровой и, в сознании обитателей, малоценной.

Для Жана, 40-летнего владельца быстро в высокогорной коммуне Сан-Джованни, по-настоящему «своей» территорией является даже не деревня, а семейный дом. Однако он тут же добавляет: «Я везде как дома. Куда бы ни приехал – чувствую себя дома. Я легко завладеваю местом, где живу». Получается, что «минималистское» пространство, ограниченное стенами дома, оказывается легко переносимым хоть на другой конец света: семья Жана живет летом на Корсике, а зимой на Гваделупе, причем на обоих островах они одинаково «у себя».

«Анахронисты»

В иных случаях человек может идентифицировать себя в большей мере не с нынешним местом жительства, а с иной местностью, непосредственно не связанной с настоящим временем. Этот вид связи с территорией мы определили, вслед за Э. Рамос, как *идентификационный анахронизм*. Он возникает чаще всего как компенсаторный механизм, если настоящее место жительства не дает удовлетворения, или не позволяет чувствовать себя в безопасности, или если местный социум отторгает индивида. В подобной ситуации многие ищут убежища в вымышленном мире, который может приобретать очертания конкретной территории. Идентифицируя себя с идеализированным прошлым (чаще всего с местом, где прошли детские годы), или с историческим мифом (семейные предания, местные истории), или с мечтой о земле обетованной, человек реализует онтологическую потребность быть счастливым. В ходе исследования выявились три типа такого рода связи.

Чаще всего «анахронисты» упоминали места, где прошло их детство и откуда они затем по той или иной причине уехали. Иногда речь идет не об основном месте жительства, а о месте, связанном с каникулярным отдыхом – чаще всего это дом «у бабушки и дедушки в деревне». Покинутые, эти места не только не исчезают из памяти, но с годами приобретают все большую притягательность, вызывая своего рода ностальгию. Это не удивительно, ведь «каждый из нас ощущает себя уроженцем не только определенной провинции, которую в глубине души предпочитает всем остальным, но и определенного уголка этой провинции... Во всяком случае, место, где мы родились и выросли, в немалой степени обуславливает нашу индивидуальность» (Braudel, 1986:36).

Режис, 48-летний профессор университета в г. Клермон-Ферран в Оверни, признается, что чувствует себя парижанином:

« Я родился в Париже и прожил там до 35 лет. Я доволен тем, что имею возможность сказать, что и мои родители, и даже мой дед с материнской стороны были парижанами. Это достаточно редкая ситуация. Мой дед по материнской линии родился 1867 году, и к этому времени его семья уже жила в столице, его отец – сам он был родом с юга Центрального Массива – торговал там вином. Мне долго это доставляло особое удовольствие, когда я был ребенком, потом подростком, потому что

все мои друзья-приятели были детьми непарижан, по крайней мере – со стороны одного из родителей. Я как бы приобретал в их глазах дополнительную легитимность, и это меня очень забавляло. Но когда ты живешь в провинции, быть парижанином совсем не просто, учитывая, как остальная Франция относится к Парижу, и здесь я это ощущаю. Я живу в Клермоне уже 12 лет, но считаю себя парижанином, потому что там – все мои воспоминания, там остались друзья моего детства и юности. И сейчас, регулярно бывая в Париже, я чувствую себя дома. Я там больше хожу пешком, и парижский воздух, хоть он и ужасно загрязненный, идет мне на пользу».

В данном случае перед нами не вполне типичная жизненная траектория: как правило, территориальная мобильность (связанная с социальной) направлена из села в город, из мелких городов в более крупные, из провинции – в столицу. Достаточно распространен также вариант, когда жизнь в большом городе или столице связана с получением образования и (или) профессии и рассматривается как временная. В последние годы непростая ситуация на рынке труда вкупе с развитием скоростного транспортного сообщения все чаще создают ситуации, когда люди живут в одном городе, а работают – в другом, причем не только провинциалам приходится ездить на работу в столицу, но и наоборот. Но случаи, когда «коренные парижане» переезжают жить в провинцию, по-прежнему являются скорее исключением. По словам Режиса, сегодня, по истечении 12 лет, некоторые его коллеги по факультету уже забыли, что он не местный, и удивляются, узнав правду. Причем удивляет их не то, что он приезжий, – в последнее время их становится все больше, – а именно то, что он приехал из Парижа. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что Режис, вынужденный по профессиональным соображениям согласиться на профессорский пост в провинциальном университете, не перестает считать себя парижанином по праву рождения, а гордость за древность своих парижских корней позволяет ему примириться с тем, что парижан недолюбливают в провинции.

Но аффективная привязанность к местности вовсе не определяется ее статусом и престижем. Для Режиса Париж его детства – это не величественные, но скучные авеню фешенебельных 16, 8 и 7 кварталов, а демократичная восточная часть города, подножье Монмартра с

небольшими домиками постройки 1830-х годов, Бельвиль с его садами – все те кварталы, многие из которых уже исчезли, где, *«находясь в Париже, можно было почувствовать себя в провинции»*.

Как бы просты и незатейливы они ни были, места, с которыми связаны воспоминания детства, *«завладевают нашим сердцем, навсегда удерживают его в плену, даже если мы сами, по собственной воле оставляем их, рискуя никогда больше не вернуться»*⁶. Чаще такие чувства свойственны людям пожилым, хотя бывают и исключения. Для Анник, 68-летней портнихи из Лориана, что в департаменте Морбиан, такое место находится в другом бретонском департаменте – Финистере.

«Это была настоящая семейная колыбель, потому что моя мать родилась в семье, где было 13 детей, на огромной ферме, и каждому из сыновей, кто женился, выделяли свой надел, и таким образом вся семья сгруппировалась на одной земле. Я так тоскую по своему детству, счастливому детству, моим дядям и тетям, по времени жатвы, когда вся семья собиралась вместе, чтобы сообща убирать урожай».

Реми, 50-летний бухгалтер из Клермон-Феррана, также употребляет выражение *«семейная колыбель»*, объясняя свою привязанность к Лангедоку – *«местности, с которой он связан корнями»*:

*«...родители, бабушки и дедушки, детские воспоминания... мои братья и сестры и сейчас живут там, а мне пришлось уехать по профессиональным соображениям. Я такой один в семье (Реми употребляет термин *«expatrié»*, обозначающий обычно французов, работающих за границей – Е.Ф.). Но я все же уехал не очень далеко, часа за 3-4 могу туда добраться на машине, если ехать по автостраде»*.

И не так важно, говорит Реми, что на самом деле он не слишком часто навещает родные места: ему достаточно знать, что они рядом, что стоит только захотеть, и можно быстро там оказаться.

Жак-Ив, удалившийся от дел мелкий коммерсант, живущий в окрестностях Марселя, хранит в своем сердце воспоминания об Алжире колониальной эпохи: *«потому что, что ни говори, я все же раньше был счастливее, чем теперь»*.

⁶ DUJON-JOURDAIN, E. *Le Sablier renversé* // Mémoires de Békées. Paris: l'Harmattan, 2002. p. 3.

Жан, регулярно возвращаясь в свою родную деревню на Корсике, надеется вернуться *«в детство, в счастливый мир, где мы строили шалаши, а бабушки поили нас кофе со сливками. Это возвращение... Это абсурд, в конечном счете»*. Абсурд состоит в том, что, отправляясь на поиски утраченного рая, человек пытается совершить путешествие во времени: затея, по определению обреченная на провал. Семейная ферма, по которой тоскует Анник, *«давно продана, там теперь все не так, за прошедшие годы все изменилось: старики умерли, да и дети, которые их оплакивали, умерли тоже; все уже совсем не так, как прежде»*. И Алжир, куда Жак-Ив все же съездил, чтобы навестить могилы родителей, *«больше не имеет ничего общего с той страной, где мы жили давным-давно»*, со страной, где он, ребенком, забросив в кусты школьную сумку, убежал на берег моря, где ослепительно-белые дома утопали в зелени платанов, где его отец преподавал арабский язык местным лицеистам.

Мари-Франсуаза, более двух десятилетий назад поселившаяся с двумя дочерьми в небольшом городке Корте в центральной части Корсики (*«девочкам нужно было учиться»* – объясняет она), сегодня, когда дочери выросли, а ей самой за пятьдесят, делится своими сомнениями относительно того, имеет ли смысл возвращаться в родную деревню:

«Чем старше я становлюсь, тем острее желание возвратиться к своим корням. Я бы хотела снова поселиться там, наверху, в горах. ...я хочу посмотреть, смогу ли я отыскать там свою прежнюю жизнь... Но можно ли возвратиться назад? Боюсь, что это утопия. Не верю. Честно говоря, я в это не верю».

Поиски корней уводят иногда дальше, чем в собственное детство. Потребность в аутентичности может пробудить интерес к семейной истории, к истории целого народа, и даже к воображаемым или мифическим «истокам». «Моя идентичность опирается на мифологию: я знаю, что она ложная, но, тем не менее, чту ее, как если бы она была носителем высшей истины»⁷ – так объясняет эту потребность писатель А. Маалуф.

Так, Жак-Ив, родившийся в Алжире и проведший всю сознательную трудовую жизнь в Реймсе, в Шампани, решил перед выходом на пенсию съездить в Эльзас, откуда его дед (которого он

⁷ MAALOUF, A. *Origines*. Paris: Editions Grasset, 2004. p. 10.

никогда не видел) уехал после поражения Франции в войне с Пруссией: *«в тот момент Эльзас и Лотарингия отошли немцам, и поэтому тех, кто хотел остаться французами, отправляли в Алжир»*, – объясняет Жак-Ив. Но встреча с землей предков не вызвала в душе ожидаемого чувства: *«Я поехал в Эльзас, просто чтобы посмотреть, на что он похож. Климат мне не подошел (смеется – Е.Ф.) Образ жизни, еда – это больше понравилось»*. Мой собеседник очевидно пытается скрыть за нарочито безразличным, небрежным тоном некоторое разочарование. Оставшись сиротой в 14 лет, он имел лишь самые смутные представления о своих эльзасских «корнях». Единственное, что о них напоминает, – его фамилия с выраженной немецкой коннотацией. Это желание «посмотреть, на что похож Эльзас», безусловно, выдает потребность, может быть, не вполне осознанную, вернуть себе утраченную семейную историю, вписать себя в череду поколений, из которой его вырвала ранняя смерть родителей. Но для того, чтобы ощутить связь с землей предков, одного лишь знания о своем «происхождении» оказалось недостаточно. И холодному воздуху Эльзаса Жак-Ив предпочел окрестности Марселя – города, который французы в шутку называют «второй столицей Алжира», – осуществив тем самым мечту, не покидавшую его все годы жизни в дождливом Реймсе: перебраться *«поближе к солнцу»*.

Этот мотив, кстати, часто упоминали и другие мои собеседники из семей «черноногих» (*pieds noirs* – обыденное обозначение репатриантов из стран Магриба). По словам Мартины, 50-летней уроженки Марокко, ее родители, также родившиеся в этой стране, не случайно решили при возвращении поселиться на юге Франции, в Ницце: *«так поступало большинство репатриантов»*.

Франсуа, родившийся во Франции в семье иммигрантов из Испании и женатый на француженке, рассказывает, что только что подал документы на получение испанского гражданства (шаг, с рациональной точки зрения необъяснимый, поскольку французский паспорт и так дает возможность не только ездить в Испанию без визы, но и жить и работать там без какого-либо специального разрешения).

«Зачем я это сделал? Как вам объяснить... Чтобы сохранить связь с Испанией. У нас есть семейный домик в окрестностях Барселоны, там сейчас живут родители. И мне тяжело думать, что после их смерти дом придется продать, потому что нас, братьев и сестер, четверо. ...

Тогда оборвется ниточка, которая связывает меня с Испанией. Поэтому-то я и решил попросить гражданство. Я очень привязан к Испании, и всегда считал себя испанцем, хотя гражданство у меня французское. И сегодня ничего не изменилось. А вот мои дети, все четверо, – абсолютные французы, и Испания их совсем не интересует».

Жак, сегодня ему 65, более 20 лет прожил в Париже, затем вернулся на Корсику и теперь живет в Бастии. Он рассказывает:

«Долгое время, особенно пока жил вдали от Корсики, в душе я считал «своей территорией» родную деревню. Сегодня я понимаю, что эта идея была ближе к мифологии, чем к реальности. Здесь у нас каждый говорит о «своей деревне». Утверждают даже, что некоторые приезжие с континента, у которых нет и не может быть «своей» деревни, выдумывают себе несуществующие деревни, только чтобы было что ответить на вопрос, откуда они. Придумывают себе происхождение, можно сказать».

Идентификацию с мифом описывает А. Макин в своем «Французском завещании»⁸. Главный герой, ребенок, а затем подросток, живет в провинциальном городе на Волге, а на каникулы каждый год ездит к бабушке в Сибирь. Ничего особенного, если бы не одно обстоятельство: эта самая бабушка – француженка. Она учит внука говорить по-французски, рассказывает ему о Франции – ее истории, культуре, повседневной жизни. И благодаря этим рассказам мальчик осознает свою связь с Францией, она становится для него живой, прекрасной и таинственной. Он полюбил ее задолго до того, как увидел, и, еще ее не зная, уже испытывает по ней ностальгию. Все свое отрочество герой тщетно пытается примирить две свои идентичности: русскую и французскую. Иногда это раздвоение личности становится настолько мучительным, что ему хочется навеки избавиться то от одной, то от другой из них... И только став взрослым, после смерти бабушки он узнает правду: его усыновили в младенчестве, и, следовательно, его французская идентичность не имеет рациональных оснований. И, однако, она вполне реальна. Эту реальность ей придают и счастливые воспоминания детства, и любовь к бабушке, и привычка ощущать себя особенным, не таким, как все – именно благодаря двуязычию и двукультурности.

⁸ МАКИНЕ, А. *Le testament français*. Paris: Editions Mercure de France, 1995.

Особый тип *анахронизма* – идентификация с местом, не связанным ни с происхождением, ни с «корнями». Такая эмоциональная привязанность может быть результатом опыта жизни в местности, открывающей большие возможности для формирования, развития и обогащения личности, для интенсивной социальной и культурной жизни, для профессионального становления и пр. (например, в большом городе, или, тем более, столице). Подобный опыт сопровождается множественными контактами с Другими, но, что не менее важно, установлением определенной дистанции со «своими». Ключевым словом в этом типе отношения к территории является «открытость». Люди, которые в состоянии оценить широту открывающихся горизонтов и связанное с ней чувство личной свободы, легче относятся к перемене места жительства и не испытывают потребности «укореняться» на каждом новом месте, ибо изначально готовы к мысли о том, что оно в их жизни не последнее. Лоран, например, признается, что *«сердце его отдано Парижу»*, и, отвечая на вопрос: «Откуда вы?», отказывается идентифицировать себя как с родным городом или департаментом, так и с городом, где он живет сейчас. Париж для Лорана – это *«культурное богатство, многообразие, открытие и открытость, архитектура... все то, чем я живу, и чего мне не хватает сейчас в Ренне»*. Впрочем, он не рассматривает Ренн как окончательный выбор: несмотря на то, что, как мы уже видели, ему здесь многое нравится, он знает, что рано или поздно поменяет место жительства, хотя пока что этот проект еще не принял конкретных очертаний:

«Мы не собираемся оставаться здесь навеки, вовсе нет. Такова жизнь, нужно думать, прежде всего, о работе, а это значит, что, скорее всего, придется переехать в другой город, или даже в другую страну, возможно, за пределы Европы, не знаю... Во всяком случае, мы не хотим засиживаться на одном месте ...».

Жак, после долгих рассуждений о том, какое значение в его жизни имеет родная деревня, куда он – *«один из немногих!»* – непременно выбирается на каждые выходные и которая, как он утверждает *«наилучшим образом выражает его индивидуальность»*, на вопрос о том, существует ли на земле место, к которому он особенно привязан, отвечает без колебаний: *«Это Париж!»*. И объясняет, почему:

«Потому что это город, который, в известном смысле, сформировал меня как личность. Я приехал туда в 20 лет и прожил до 40, а это именно тот возраст, когда че-

ловек образовывает себя, развивается интеллектуально, открывает для себя великие идеи. И я должен сказать, что своим образованием, становлением как в интеллектуальном, так и в человеческом плане я обязан Парижу. Этот город я очень люблю, и я хотел бы иметь там свой угол, чтобы можно было приехать в любой момент ... ».

Присвоение территории – это индивидуальный акт, результат индивидуального опыта, отражение индивидуальной памяти: это

«...моя родная страна, мое семейное гнездо, дом, где я родился, дерево, которое выросло на моих глазах (которое отец посадил в день моего рождения), хранилище моего детства, полное нетронутых воспоминаний...»⁹.

«Свою» территорию мы измеряем шагами, изо дня в день повторяя одни и те же маршруты, мы запоминаем ее наизусть в мельчайших подробностях, с присущими ей в разное время суток и в разные времена года звуками, цветами и запахами. Мы пересекаем ее на машине или поезде, узнавая пейзажи, возникающие за окном всегда в одной и той же последовательности и служащие нам ориентиром в пространстве и времени («отсюда еще полчаса – и будем на месте»). У нас формируются привычки, связанные с данной территорией. Все это и создает *ощущение владения*, собственности: это – мое место на земле.

Контуры и размеры «своей» территории варьируют в зависимости от плотности и интенсивности социальных связей индивида. Иногда она расширяется почти беспредельно, поверх границ и барьеров, а иногда сжимается до пространства даже не дома, а комнаты – так бывает, когда человек оказывается в новом, чужом, неудобном месте, подобно героям повести Ж. Перека «Вещи», от безысходности решившимся завербоваться учителями в Тунис и оказавшимся в маленьком городке на краю пустыни. «Холодным ноябрьским вечером в этом чужом городе, где *ничто им не принадлежало*, где им было *не по себе*, музыка уносила их назад, в прошлое, она возвращала им забытые чувства товарищества и человеческой общности, как будто в этой комнате с циновкой на полу, с двумя рядами книг на стене и проигрывателем, на которые падал свет из-под цилиндрического абажура, возникала некая заветная зона, *не подвластная ни пространству, ни времени*. Но вне этой комнаты все было им чужим, они *чувствовали себя изгнанниками*: длинный коридор, где шаги отдавались чересчур гулко, огромная неприветливая ледяная

⁹ PEREC, G. *Espèces d'espaces*. p.122.

спальня (...); третьей комнатой они не пользовались и никогда туда не заходили. В их квартиру вела каменная лестница, начинавшаяся в вестибюле, который часто заметало песком, дальше шла улица – три двухэтажных дома, сарай, где сушились губки, и пустырь. За пустырем начинался город»¹⁰ (курсив мой – Е. Ф.).

Итак, *присвоение территории* (выражающееся в понятии *chez-soi* – «быть как дома», а также описываемое с помощью личных притяжательных местоимений *мой, моя, моё*) может совершаться в перспективе синхронизма и анахронизма. Выбор этой перспективы в значительной мере определяется психологическими факторами: чтобы ощущать территорию вокруг себя как свою, необходимо чувствовать себя уверенно и безопасно. Для этого нужно быть интегрированным в жизнь местного сообщества, иметь возможность для удовлетворения своих потребностей и самореализации. У тех, кто не чувствует себя хорошо «здесь и сейчас», онтологическая потребность быть счастливым может включать компенсаторный механизм, заставляющий искать убежища в вымышленном мире, который, однако, тоже должен быть локализован, связан с той или иной территорией, в поисках которой человек обращается к собственному (часто идеализируемому) прошлому, или к семейной мифологии, или к мечтам о земле обетованной.

Протяженность и непрерывность «своей» территории определяется плотностью и интенсивностью социальных сетей и связей индивида. Если эти связи множественны, разнообразны и личностно-аффективны, то «своя» территория включает все пространство, покрытое данной сетью, и постепенно распространяется вширь по мере разветвления сети. В случае смены места жительства и резкого удаления от «своей» территории, делающего невозможным поддержание прежней интенсивности социальных связей, адаптация на новом месте может быть достаточно долгой и болезненной, ибо потребуются время на воссоздание сопоставимой по плотности и охвату сети социальных связей. Напротив, люди, менее включенные в местную социальную жизнь, те, чья территория ограничивается стенами своего жилища, а неформальные связи – членами своей семьи, могут «присваивать» пространство дискретно, прерывисто, легко воспроизводя его на каждом новом месте.

¹⁰ ПЕРЕК, Ж. *Вещи*. М.: «Правда», 1984.

Территории, которым мы принадлежим

Чувство принадлежности к территории в большей степени зависит не от психологических факторов, а от социально-демографических характеристик опрошенных. Оно формируется через знакомство с ее историей и культурой, через включенность в местные традиции – несмотря на то, что каждый «выбирает» из общего наследия то, что ему близко и забывая, а иногда и отрицая то, что чуждо. Оно строится на фундаменте коллективных представлений, коллективного опыта и коллективной памяти. Содержание социальных представлений, от которых зависит эта форма отношения к территории, меняется во времени и различно в разных слоях населения. Осознание своей принадлежности к таким территориальным единицам, как регион, нация или Европа, является результатом социализации и требует определенных исторических и географических познаний. Для того чтобы чувствовать себя не только *«простым сельским жителем»*, как определяли себя некоторые из моих собеседников в Бретани, и не просто *леонцем, трегорцем, бигуденцем* (по названиям исторических «краев») но и *бретонцем*, нужно, как минимум, представлять себе Бретань как территорию с конкретными границами и уметь определить свое местоположение относительно этих границ, а также быть знакомым с концептами бретонской культуры и бретонской идентичности, являющимися результатом научных обобщений.

Типичный пример того, каким образом интеллектуальные конструкции, проникая в общественный дискурс, способствуют формированию региональной идентичности, представляют собой рассуждения Бернара. Ему 52 года, он работает на заводе и всю жизнь живет в департаменте Кот д'Армор. Границы его воображаемой территории определяет бретонская идентичность. Так, он рассказывает, что, будучи в туристической поездке в Шотландии, ощутил особую близость с этой землей, которая, по его мнению, *«немного похожа на Бретань, близка нашим корням»*. Он утверждает также, что *«шотландцы или ирландцы ближе бретонцам, чем эльзасцы. Я думаю, дело тут в том, что кельтская культура нам ближе, чем германская»*.

Он, однако, затрудняется определить, в чем именно проявляется эта «кельтская» культура, с трудом подбирает слова:

«...это идентичность... есть еще традиции, и все такое, ну, то, что важно... образ жизни... Если присмотреться, в Бретани есть традиционные игры, которые похожи на те, что можно увидеть в Шотландии или Ир-

ландии. Я не думаю, что в Эльзасе обязательно есть такие же. Ну, то есть я не знаю точно... Я не видел. Поэтому я так думаю, и это общепризнано. Если даже я не могу толком объяснить. Но мы друг другу близки).

В этих сбивчивых рассуждениях ключевые слова – «это общепризнано». А раз так, то можно «увидеть» черты культурного сходства и «почувствовать» психологическую близость с людьми, говорящими на другом языке и живущими в другом государстве, и, напротив, «ощутить» посторонними своих соотечественников.

В качестве идентификационных ориентиров опрошенные в ходе исследования «История жизни» называли территориальные единицы разного таксономического уровня. Отвечая на открытый вопрос «Если вас спросят: «Откуда вы?», что вы ответите?», 55% респондентов назвали *коммуну*. Частота таких ответов, вполне ожидаемо, заметно выше среди тех, кто всю жизнь живет в одной и той же коммуне (78%, по сравнению с 51% среди тех, кому довелось пожить в нескольких регионах). Она сокращается по мере усложнения индивидуальной географической траектории. В то же время, безусловно, данный результат в значительной мере предопределен самой ситуацией опроса: интервьюер беседует с респондентом у него дома, причем оба собеседника, очевидно, французы. Нетрудно предположить, что на тот же вопрос, заданный при других обстоятельствах – например, в поездке по стране или тем более за границей – можно получить другой ответ. «Уровни, на которых мы себя идентифицируем, зависят от собеседника и от контекста. Человек назовет себя французом в разговоре со случайным встречным за границей; он уточнит, в каком городе живет или родился, если выяснится, что этот случайный встречный знает Францию; он назовет свой департамент или регион в разговоре с соседом по летнему кемпингу, таким же отпускником, как и он сам. В беседе с коллегами на работе он будет ругать (или хвалить) свой квартал, он упомянет (иногда с ностальгическим чувством) город, в котором учился. Местность, откуда ты родом; где ты живешь; откуда ты приехал; где ты провел часть жизни – вот возможные варианты объявленной принадлежности к территории. И вот тут возникает вопрос: не является ли географическая привязка своего рода декларацией, способом завязать разговор, или, может быть, своего рода удостоверением личности («национальность: француз»), которое каждый обязан предъявить, чтобы соответствовать неким административным предписаниям (подобно тому, как для получения социального пособия

нужно указать домашний адрес)?»¹¹. О возможности по-разному «декларировать» свою географическую принадлежность говорили многие респонденты.

«Если бы меня спросили, откуда я? Это зависит от обстоятельств. Во Франции сказала бы, что я из Каора. За границей на такой вопрос я бы ответила: "француженка", а если бы попросили уточнить, назвала бы Тулузу (административный центр региона Юг-Пиренеи – Е.Ф.), потому что этот город более известен, чем Каор» (Анна-Мария).

«В Париже я назову себя бретонцем, в знак протеста против высокомерия парижан. Но в Нью-Йорке скажу, что я француз – потому что я искренне себя таковым считаю и потому, может быть, еще, что американцы могут не знать, что такое Бретань» (Эрван).

Примерно так же рассуждает Бернар:

«Если мой собеседник – автохтон... ну, то есть житель той страны, куда я приехал, – я скажу, что я француз, а если я встречаю за границей француза, ну и тем более – бретонца, то тогда я – бретонец, конечно. Логично, по-моему».

Николя выстраивает еще более сложную иерархию:

«Если я говорю с другими нормандцами, я назову себя руанцем или кошуа (производное от косского диалекта нормандского языка – Е. Ф.) – ведь можно быть одновременно и тем, и другим. С французами я – нормандец, а за границей – француз-нормандец».

Идентификация с тем или иным *регионом* почти вдвое больше выражена у тех, кто переезжал из одного региона в другой, чем у тех, кто с рождения живет в одном и том же регионе (соответственно, 21% и 13%). И, наконец, реже всего, отвечая на вопрос: «Откуда вы?», опрошенные говорят «Я из Франции» или «Я француз»: такие ответы дали всего 6%. Заметно чаще так отвечают те, кому довелось пожить за границей (14%). Похоже, что для осознания своей принадлежности к тому или иному региону нужно сменить регион, а для осознания национальной принадлежности – покинуть страну.

Кристина, учительница, родом с юга Франции, была переведена по службе в Парижский регион, где прожила четыре года в

¹¹ PEREC, G. *Espèces d'espaces*.

небольшом городке, а затем вернулась на родину. Это временное отсутствие не только способствовало осознанию чувства привязанности к родным местам, но и пробудило интерес к региональной культуре:

«Вот уже несколько лет как мы вернулись в Каор, и, оказавшись вновь в родных местах, я как будто увидела их впервые. Мы часто не замечаем красоту тех мест, где живем, и нужно, наверное, оказаться вдали, чтобы почувствовать, как нам этого не хватает. С этого же времени началось и мое увлечение Окситанией, ее языком и культурой.»

Кристина вспоминает, что ее бабушки и дедушки и даже родители знали окситанский язык, но никогда не говорили на нем при детях: говорить на «патуа» считалось стыдным. Поэтому она и не выучила язык в семье, тем более, что и интереса к этому у нее не было:

«В 18 лет мало кто интересуется такими вещами, как история, культурное наследие и тому подобное, молодежь стремится получить знания, которые могут помочь лучше устроить свою жизнь, больше зарабатывать. А годам к 40 приходит понимание того, что без "корней" невозможно. К счастью, я нашла здесь ассоциацию окситанской культуры и там выучила язык.»

А вот рассказ Анник, прожившей вместе с мужем-офицером несколько лет в Марокко:

«Именно там я почувствовала себя француженкой... Если вы не выезжаете за границу, если остаетесь все время в своей стране, вы просто не замечаете того, что вы – дома. Нужно пересечь границу. И когда вы оказываетесь далеко, тут-то вас и охватывает ностальгия по своей стране. И как же к ней тянет! Она прекрасна, она самая красивая, самая лучшая... Мне так ее не хватало, Франции! Я говорила мужу: «когда я сойду по трапу самолета в Париже, я, как Папа, поцелую землю». Но не осмелилась это сделать, хотя очень хотела.»

Герои перековских «Вещей» испытывают в своем добровольном тунисском изгнании нечто подобное: «Их охватит тоска по Парижу, по весне на берегах Сены, по дереву под их окном, которое покроется цветами, по Елисейским полям, по площади Вогезов. (...) Они упакуют чемоданы. Уложат книги, гравюры, фотографии

друзей, выбросят накопившиеся бумажки, раздадут мебель, (...) отправят багаж. И станут отсчитывать дни, часы, минуты». И вот, наконец, морская переправа позади: «В Марселе они выпьют по чашке кофе с молоком и круасанами. Купят вчерашние номера "Монд" и "Либерасьон". В поезде под стук колес они внутренне исполняют "Аллилуйя Мессии", ликующие гимны. Они будут отсчитывать километры; они изойдут восторгами при виде французского пейзажа – обширных нив, зеленых лесов, пастбищ, долин».

А. Бегаг, алжирец по происхождению, в автобиографическом романе описывает острое ощущение своей принадлежности к Франции, которое возникло у него во время поездки по США: «Я готовился к своей лекции, думая лишь об одном: вернуться домой! Никогда прежде этот зов не был столь мощным и очевидным (...) Я читал по-французски, и это приносило облегчение, как будто я уже дышал воздухом Франции. (...) Я покидал Техас, вотчину Бушей, и Соединенные Штаты с легким сердцем: ведь я возвращался во Францию! Скоро я ступлю на борт самолета «Эр Франс», а потом, в аэропорту Руасси, направлюсь прямо в бар, чтобы выпить чашечку кофе, настоящего, отличного кофе, какой варят у нас, и почувствую себя дома. Все мое существо ликовало»¹².

Нельзя не согласиться с тем, что самые глубокие, самые живые чувства не всегда выражаются вслух. Национальная идентичность настолько самоочевидна, что зачастую человек не отдает себе в ней отчета, пока не столкнется с идентичностью Другого (*Schnapper*, 1998:298). Или пока его специально не спросят о ней: стоит предложить расставить приоритеты своих территориальных идентификаций («Кем вы считаете себя прежде всего?»), как доля называющих себя французами многократно возрастает (62% идентифицируют себя с нацией, 27% – с регионом, 9% считают себя европейцами).

Ниже мы рассмотрим, как и почему формируется идентификация с территорией на разных таксономических уровнях, в той последовательности, которая соответствует выявленной иерархии предпочтений.

¹² BEGAG, A. *Le marteau pique-cœur*. p. 17-19.